



***Самуил Яковлевич Бейлин,
Участник проекта "Я из прошлого протягиваю мост..."***

ЛИНИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ



Ева Соломоновна Бейлина

В 1941 году мне исполнилось 4 года. Я запомнил это время. Потому что все видел как бы в первый раз, но ничего не понимал и находил объяснение увиденному много лет спустя.

Великая Отечественная война, как ее официально именовали, а в народе называли войной с Германией, была ожидаемой.

Мы жили в городе Ленинграде, на улице Радищева, дом 19, угол Озерного переулка.

Я хорошо помню, что стоял в подворотне нашего дома на Озерном переулке вместе с мамой. Она разговаривала с каким-то соседом. На углу было много мальчишек. Вдруг из-под ворот противоположного дома выскочила группа других мальчишек, среди которых был наш сосед по коммунальной квартире Гена Цветков, от них полетел град камней в сторону другой группы, та бросилась бежать.



1939 г. Алик Цветков, я-сидят, Гена Цветков и Женя Бейлин

«Играют все в войну, - сказал сосед. - Наверное, скоро начнется настоящая война».

Меня почему-то это тоже интересовало. Я хорошо помню как по улице Восстания, в которую впадал Озерный переулок, шел отряд красноармейцев. Каждый нес на плече какое-то странное оружие, но не ружье, а что-то длинное и деревянное.

«Что же это такое?», – думал я. И только много лет спустя, уже после войны понял, что это были лыжи. А еще через много лет спустя понял, что шли они в большой Таврический сад, где была лыжня. Из этих солдат потом составлены были лыжные батальоны.

Об этом я узнал потом, когда учился в школе. Тогда мне в руки попала довоенная газета «Пионерская правда», и я с удивлением увидел в ней большой

раздел: «Если завтра война». В ней была большая статья: «Устройство пулемета». И еще совсем маленькая тревожная информация: «В турецкий порт вошел английский эсминец».

Мне, когда я ее читал, было уже 13 лет, и я думал: «Зачем мальчишкам надо было это читать?»

А сейчас я понимаю, что те мальчишки в конце войны уже штурмовали Кенигсберг или переправлялись через Одер.

Когда началась война, мне никто не сказал, но я помню, что во дворе нашего дома моя мама с соседками насыпали в носилки песок и ссыпали на какие-то предметы, как я теперь думаю муляжи зажигалок.



Яков Самуилович Бейлин

Моя мама, молодая и веселая все время смеялась, а какой-то мужчина строго делал замечание.

Потом мы посидели в чистом подвале, где были расставлены белые скамейки.

Наша коммунальная квартира, состоящая из десяти комнат, вдруг опустела.

Мой брат Женя, ему было шесть с половиной лет, побежал в конец коридора, где жили девочки Рая и Ася, наши ровесницы. Они были чем-то подавлены. Потом я узнал, что их папа ушел на фронт.

Я прибежал вслед за братом, мне дали большую куклу. Не зная, что с ней делать, я побежал по коридору обратно. Коридор «делал колено», т.е. загибался. На подоконнике спиной к окну сидел мужчина весь в облаках папиросного дыма. Яркое солнце, какое бывает в июне под вечер, часов в 18, светило ему в спину, я пригляделся, узнал его:

- Папа!

Он странно ласковым, необычным голосом ответил мне как-то протяжно:

- Сы-но-чек!

Я даже как-то удивился: что это? И все. Я его больше не помню, и никакой мужчина никогда меня сыночком больше не называл.

Потом я себя помню в автобусе рядом с братом, а мама на улице рядом с другими женщинами смотрит на нас.

В автобусе дети. Один мальчик поднимает сетку и говорит:

- А у меня вот, что есть!

Мой брат Женя поднимает цепочку ирисок в фантиках, на которых нарисованы кошечки в разных ракурсах, такие ириски назывались «кис-кис» и выпускались только до войны, и тоже говорит:

- А у меня вот что!

Вдруг мама почему-то кладет руки на стену дома, на руки – лицо и плачет.

Автобус трогается.

Я узнал эту стену после войны. Спросил:

-В этом доме был детский сад?

Мне ответили:

- Да.

В этот детский сад ходила до войны моя двоюродная сестра Рена Бейлина. С детьми этого детского сада нас и отправили в эвакуацию.

Я себя помню в товарном вагоне, на большой полке. Старший брат, Женя, вдруг говорит:

- Давай устроим уголок воспоминаний?

- А что это такое?

- Ну, мы будем вспоминать маму, папу...

Мимо проходит заведующая детским садом, Мария Васильевна, как я потом узнаю, Котова. Она смотрит на меня и говорит:

- Этот мальчик скоро умрет!

Мне это не понравилось:

- Нет! Смотрите, какие у меня мышцы! – и согнул в локте руку.

До сих пор не могу понять, откуда я мог знать про мышцы, наверное, слышал где-то во дворе от Алика Цветкова, моего соседа по квартире. От него я и не такое слышал, но воспитатели поняли это по-своему: меня перестали кормить.

Как ни дико это покажется сейчас, но летом этого (2012) года, около музея-квартиры Анны Ахматовой я разговорился с одной пожилой дамой и вспомнил дом, где жила подруга Анна Андреевны – Ольга Федоровна Берггольц, поэтесса.

- В этом доме во время блокады были детский сад и ясли. Моя мама оставляла меня там во время дежурств в отряде самообороны, - сказала дама.- Была зима, она отморозила ноги и три дня не могла ходить. Решили, что она уже не придет, и меня три дня не кормили. Когда же мама через три дня всё же пришла, то отказалась от меня: «Это не моя дочь!». «Смотрите внимательнее. Ваша!» - ответили ей... Она узнала только по родимому пятну на руке.

Я сказал:

- У меня была похожая история. Во время эвакуации меня тоже не кормили три дня, мол, и так умру. На третий день начался переполох: в наш эшелон, в вагон, где ехали школьники, попала бомба. Потом стали раздавать каждому по сухарю. Идут мимо меня. Я уже не хотел есть, но мне было обидно:

- А почему мне не даете?

- А у тебя нет стула!

В товарном вагоне ни у кого не было стула, но я кричал:

-Есть стул, есть стул, есть стул!

- Ну, где твой горшок?

-А он во время бомбежки закатился!

Вдруг вмешался мой старший брат, Женя:

- Хватить мучить ребенка. Я напишу на фронт нашему папе, он придет и застрелит вас из ружья!

И я получил белый сухарь.

В книге Лазаря Ратнера «Отчизны дети нелюбимые» есть биографический эпизод. В блокаду у его матери украли карточки. Дубликаты не выдавали. Его родная тетя, оставив сестру умирать, его самого отвела в детский дом. Там его усадили в карцере на стул и продержали без еды три дня. Дети утром выходили посмотреть: жив он или не жив. Он жил. Тогда, через три дня, его приняли.

Всё это было в духе того времени.

В 1942 году я обнаружил, что стал много понимать. Мне было уже пять. Я откуда-то знал, что двести плюс двести будет четыреста. Сейчас я думаю, что это я услышал от старшего брата, который пошел в школу, или от кого-нибудь другого.

Тогда же, в 1942 году, в какой-то осенний праздник, наверно, 7 ноября, было уже холодно, я согласился станцевать на концерте русский народный танец. Девочку

звали Вера. Номер готовила и аккомпанировала соло, без инструментов, веселая воспитательница, Рита Григорьевна Рузина.

Мы с Верой взялись за руки и пустились в пляс. Потом я опустился на колени, Вера, держась за мою поднятую руку, кружилась вокруг меня, но тут я отключился, наверно, сказалося малокровие, я как бы заснул. Очнулся – музыка смолкла, Вера остановилась: «Он не встает!»

Я вскочил, и мы понеслись в танце. Все были в восторге. Мне вручили невиданный приз – три белых пряника. Я выбежал в коридор и замер – пряники были наполовину зеленые. Я в первый раз увидел плесень...

Выбросить, не выбросить... Я их съел. Это было в 1942 году, наши войска на всех фронтах терпели поражение. В интернате, так мы стали называться, было невесело.

Мелодию, которую исполняла Рита Григорьевна Рузина, я всегда помнил и узнавал через много-много лет. Это был еврейский танец фрейлехс «7:40». Тогда номер назывался «русский народный танец».

Знаменательно, что номер, который я так успешно исполнил, и определял мою этническую принадлежность: «русский еврей», о чем я узнал много лет спустя, а, к сожалению, почувствовал значительно раньше.

.... В 1943 году всё стало как-то иначе. Я впервые увидел командиров, на плечах которых было что-то невиданное.

- Что это? – спросил я.

- Погоны, - ответил кто-то из старших.

Откуда в деревне появились офицеры?

Теперь я вспоминаю, что церковь переделали под спиртовой завод. Фронту нужна была водка.

Появился сельский детский дом. Я ходил туда и жалел этих детей. Они ели картошку из чугунка. У них не было обуви. Потом сирот куда-то увезли...

Наступил 1944 год. Из Ленинграда шли хорошие вести, и мы, то есть мама, старший брат и я, поехали туда.

Блокаду сняли, на город оставался на осадном положении. Ночью действовало затемнение. Электричество и вода не подавались на этажи. В наш дом, говорят, попало пять снарядов, а может быть и бомб. В нашу квартиру попал один, прошедший с крыши до подвала. В нашей комнате, у печки, был пролом в «ледяной коридор». В квартире жила лишь одна соседка – Тася, но скоро она умерла от гипертонии – болезни блокадников.

Я уже ходил в школу и готовил уроки при коптилке. Пальцы у меня опухли, и я не мог их сжать наполовину. А спали мы в одежде, втроем, накрывшись всеми одеялами.

Потом я заболел корью, и меня увезли в больницу. В больнице им.Филатова было тепло и сытно. Хорошо, если бы в детской палате не верховодил переросток Боря.

Был он из детского дома, до этого был в оккупации и нахватался там фашистского яда. Он сразу определил, что я еврей, и создал для меня режим концлагеря: «С постели не вставать! Только с моего разрешения. Перед обедом три оплеухи и щелбаны... выбирай, двадцать восемь или тридцать два?»

Большие числа мы ещё не проходили, я знал: два меньше чем восемь. И сказал неуверенно:

- Тридцать два.

- Ха-ха, тридцать два больше, чем двадцать восемь!

Мне было досадно, но я сам это выбрал.

Потом, в 1982 год, в самый разгар «борьбы с сионизмом» очень похоже держал себя судья Шмелев.

«Не превращайте суд в политический процесс. Сейчас не время и не место!»- сказал он моему тогдашнему адвокату Юрию Михайловичу Новолоцкому, сейчас знаменитому юристу. Речь шла о возможности внести деньги в кооператив, на который я имел право вступления без очереди, как сын погибшего участника Великой Отечественной Войны.

Сейчас трудно в это поверить, да и тогда не укладывалось в голове, но мне дали три года условно «с привлечением к труду», и я, заведующий плавучей базы снабжения плавсостава крупно-тоннажного флота, стал плотником-бетонщиком третьего разряда.

Там я довольно быстро сделал карьеру: вначале строподем, потом диспетчером, потом агентом снабжения, а потом, когда советская власть зашаталась и начала крениться, вообще освободился и «ушёл в культуру». Вначале художественным руководителем культбазы плавсостава Северо-Западного пароходства, затем автором-исполнителем, председателем «Клуба юмористов», конференсье ...У меня и сейчас висит афиша «С песней и улыбкой по жизни».

С таким настроением в год трёхсотлетия Санкт-Петербурга, в 2003 году, я прогуливался по отреставрированной нарядной Петропавловской крепости.

У одного из залов увидел табличку: «Отреставрирован зал на средства жителей Манчестера». Там была из фондов выставка «Блокадного Ленинграда».

В хорошем настроении я зашёл туда, чтобы встретиться со своим наивным и беззаботным детством.

Пошутил при входе с дежурной. Посмотрел узнаваемые фотографии. Да, всё так и было.

Вот коммерческие столовые, после которых ещё больше хотелось есть.

Я помню полную заведующую в белом халате, помню сатирические куплеты тех лет:

И любит кашу директор столовой,

И любят кашу обжоры повара.

А вот совсем знакомый сюжет: шесть человек, мужчины и женщины, шагают по Невскому держась за канат аэростата. И надпись: «Фото Трахтенберга. 1943 год».

«А вроде при мне он это фотографировал. Я ещё подумал, чего тут особенного, несут и несут. Трахтенберг жил напротив на Озерном переулке. А сейчас это классика. Но причём здесь 1943 год?» И я сказал дежурной: «Тут ошибка. Это было в 1944 году»

-Смотрите быстрее, Скоро закрываемся, - равнодушно и раздражённо ответила она

Я обиделся: что ей до этого. Её тогда в Ленинграде и не было. Вот на снимке провода натянуты, подмечено. Люди ходят по «стороне, которая наиболее опасна при артобстреле».

Ясно, 1944 год, но тут я увидел и безусловный 1943 год. Лоток на улице. Чуть поодаль милиционер как бы отвернулся, и голодные ленинградки, с какими-то стеклянными глазами, как у узников концлагерей, смотрят, вытянув шеи на продукты, никто ничего не покупает, только смотрят, смотрят, смотрят ...

Я досмотрел выставку, остановился у книги отзывов и первый раз в жизни понял, что потерял слова. Не мог же я написать, что выставка мне понравилась...

Подошла дежурная и уже другим тоном сказала: «Вы хотите написать... Сейчас принесу ручку...», - в голосе было что-то похожее на сочувствие... Я понял, что не выдержу. Бросился к выходу, закрыл за собой дверь...

Наверное, это глубоко жило во мне, если через шестьдесят лет я громко и безудержно разрыдался.

7.11.2012-17.12.2012